

Вера Мильчина
(ИВГИ РГГУ; ШАГИ РАНХиГС)

О Сереже Козлове и его гештальтах

Писать о Сереже (не говорю Сергее Леонидовиче, потому что, когда мы познакомились на филфаке МГУ в середине 1970-х годов, он, конечно, был для меня Сережей, а я для него Верой) страшно увлекательно — если бы только не чудовищный повод для этого писания, пробуждающий в слове «страшно» его прямое, а не переносное значение.

Сережа опубликовал сравнительно немного: две книги и несколько десятков статей и переводов, но мысли, в этих книгах и статьях содержащиеся, настолько глубокие, что эту интеллектуальную пищу еще предстоит как следует освоить.

Одной из последних (если не последней) Сережиной публикацией было послесловие к долгожданному изданию Курциуса. Там он писал об учителе Курциуса Стефане Георге и его понимании гештальта:

Главная обязанность историка, согласно Георге, — выделить и запечатлеть в своем исследовании *гештальт* объекта. Слово «гештальт», получившее невероятную популярность в XX веке, не поддается однозначному переводу на другие языки, отчего и используется теперь едва ли не на всех языках мира в своем изначальном виде. Гештальт — это структура, определяющая смысл явления. Это схватываемый сознанием образ объекта. Для Георге речь шла о том, чтобы выделить гештальт уникальной исторической фигуры или шедевра¹.

Так вот, Сережин гештальт, как теперь становится понятно, заключался в «оправдании филологии», в стремлении понять, как сделать историко-филологические исследования профессиональными, но не заумными и не занудными, увлекательными, но не подменяющими глубину мысли красотами стиля. Программа была намечена в старой (1996) статье в журнале «Итоги» под названием «Интеллектуальные романы для современной России», а позже развернута в статье «Наши новые “истористы”», где Сережа так же убедительно обличал высокомерие «чистой науки», которая вырождается в скуку². Но при этом, конечно, предполагалось, что и легкость пера, и публицистическая страстность не должны исключать научной фундированности. Кстати, Сережа и сам был блестящим публицистом, хотя мало написал в этом жанре, и вообще отличался отсутствием снобизма и чрезвычайной широтой интересов, например, в современной музыкальной культуре: от «Наутилуса Помпилиуса» во времена нашей молодости до современных французских неклассических певцов; и в те

-
- 1 Козлов С.Л. Эрнст Роберт Курциус и его *opus magnum* // Курциус Э.-Р. Европейская литература и латинское средневековье: В 2 т. Т. 1. М.: Изд. дом ЯСК, 2021. С. 59.
 - 2 Козлов С.Л. Наши «новые истористы». Заметки об одной тенденции // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 129.

же времена нашей молодости Сережа сочинил и сам же исполнял пародийную рок-оперу «Павлик Морозов», в которой среди прочего действовал хор брутальных врачей, певший арию: «Давайте отрежем Мересьеву ноги!» (да, и Морозов, и Мересьев, там много было намешано).

Очень четко очерчивая названные полярные позиции (условно и утрированно обозначаю их как пустая болтовня и скучная наука), Сережа всегда пытался найти между ними не столько золотую середину, сколько здоровое равновесие. Он, призывавший филологов не замыкаться в скучном занудстве, в заметке о Ницше пишет о современных филологах, ставших чересчур жизненнолюбивыми, спортивными и непедантичными «древними греками», без всякого восхищения и даже довольно скорбно:

Те из сегодняшних филологов, кто стал «древними греками», не могут не вызывать восхищения, но надо помнить, что бесплатно ничего не дается. Разносторонность может быть куплена только ценой рассредоточения внимания и энергии. Трансакционные издержки варьируются в зависимости от личностных ресурсов и личных обстоятельств, но платить приходится всем. В этих условиях нет места для сверхценностей, есть просто ценности, которые надо состыковать в своей душе и в своей жизни, с большим или меньшим трением. Любовь не исчезает — но, конечно, накал ее ослабевает и она релятивизируется. Превращаясь в «древних греков», филологи становятся гораздо более победительны, но менее героичны, чем раньше. Жизнь ницшевского филолога могла быть с равным успехом прочтена и как фарс, и как житие; жизнь сегодняшнего филолога все чаще напоминает плутовский роман.

А после этого идет последняя фраза:

На вопрос, вынесенный в заглавие этих заметок, я могу дать только один ответ: нет, конечно же, «вон тот» — это не я. К счастью и к сожалению³.

Вот в этом одновременном «к счастью и к сожалению» все и дело. Фиксируя на самых разных исторических этапах и в разных национальных культурах борьбу между двумя крайностями: скрупулезным (но бескрылым) накоплением фактов и порождением головокружительных (но безответственных) концепций, — Сережа все время старался понять, можно ли взять от каждой только хорошее.

В знаменитой дискуссии филологов и философов, устроенной «Новым литературным обозрением» в сентябре 1995 года, Сережа выдвинул еще одну оппозицию для обозначения той же проблемы. Он говорил там о филологах и филологах-уклонистах. «Чистый» филолог собирает параллельные места для комментария, и ничего другого ему вроде бы и не нужно (моя память сохранила — вероятно, потому, что мне это очень близко, — сравнение из Сережиного монолога: филолог — как птица, которая любое перышко, любую веточку тащит в свое гнездо, то есть в свой комментарий; но в стенограмме дискуссии, напечатанной в 17-м номере «Нового литературного обозрения», этого образа, к сожалению, нет). А филологу-уклонисту нужны не только параллельные места, но и интерпретации. Через двадцать шесть лет примерно о том же Се-

3 Козлов С.Л. «Неужели вон тот — это я?». Заметки читателя на полях наброска Ницше о филологах // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 68.

режа писал в финале статьи о Курциусе, где размышлял о современном состоянии исторических исследований, которые дошли до такой степени утонченности, что каждая концепция может быть подвергнута деконструкции и на каждую концепцию могут быть найдены противоречащие ей факты:

В этих условиях самым распространенным выходом оказывается переориентация исследователей с порождения концепций на регистрацию фактов. Научные статьи и монографии в значительной своей части начинают все чаще напоминать — если не по форме, то по содержанию — беспристрастный исторический справочник или материалы к такому справочнику. Широкоохватные историографические нарративы все в большей степени переходят в сферу поп-науки. Противоречие, однако, состоит в том, что именно историографические нарративы определяли и определяют общественный интерес к гуманитарным наукам. Чем менее концептуальными становятся эти нарративы, тем меньший интерес у общества они вызывают, и, соответственно, тем сильнее падает престиж гуманитарных наук⁴.

Сочетать верность фактам с точностью концепций очень трудно. Но у Сережи это получалось. Он прислал мне свою статью о Курциусе еще до напечатания, и я очень рада, что успела ему написать, как она мне понравилась: «И вообще ты ухитрился быть совершенно “конгениальным” — фактами, конечно, не пренебрег, но наложил на них “концепцию”, отчего они стали “говорящими”».

Книга «Имплантация» целиком посвящена бесконечно трудным попыткам соединения двух культур: велеречивой французской риторической с эрудитской немецкой. Особенно важные страницы посвящены там спору двух замечательных французских историков XX века Люсьена Февра и Марка Блока о месте эрудиции (то есть скрупулезной регистрации фактов) в исторических исследованиях. Февр упрекает Блока в «грехе эрудитства». Блок возражает (в письме от 22 июня 1938 года):

Не обзывайте меня презренным эрудитом, равно как и пошлым конформистом. Полагаю, что я — *un honnête érudit*, как и Вы. Я стараюсь быть чем-то еще, оставаясь в основе своей все тем же *honnête érudit*. И я всегда буду преследовать с равной силой... и праздную эрудицию, которая есть глупость, и псевдоозарения псевдоидеями, которые суть галлюцинации (или же лень)⁵.

«*Honnête érudit*» оставлен без перевода, потому что, признается Сережа, перевести это точно очень трудно:

«*Honnête érudit*»... Как это перевести? Это, очевидно, и «честный эрудит», и «добросовестный эрудит», но и нечто большее. Это эрудит, сохраняющий способность быть «*honnête homme* в старом смысле слова», т.е. быть человеком хотя бы отчасти универсальным⁶.

Это такой эрудит, которого его эрудированность не отдаляет от «приличных людей» (важнейшая категория французской культуры, которой в «Импланта-

4 Козлов С.Л. Эрнст Роберт Курциус и его *opus magnum*. С. 61.

5 Козлов С.Л. Имплантация. Очерки генеалогии историко-филологического знания во Франции. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 429.

6 Там же. С. 430.

ции» посвящено много страниц), но из работ которого «исключен всякий журнализм» (слова Блока 1929 года о задуманном журнале «Анналы»⁷). Февр считал, что журнал должен быть прежде всего «читабылен» и что его авторы не должны «донимать приличных людей» плодами «опорожнения картотечного ящика в подстрочные примечания»⁸. Блок же полагал возможным совместить «ясный, чеканный и строгий в своей полновесности язык» (ценности той самой французской классической традиции, которая изобрела понятие «приличный человек») с «в высшей степени надежными научными знаниями»⁹ и подстрочными примечаниями, одиозными в глазах некоторых защитников этой самой национальной традиции.

Это тот идеал, к которому, очевидно, стремился сам Сережа (достаточно взглянуть на библиографию «Импантации», занимающую сорок страниц). Среди его статей «концептуальных» больше, чем сугубо историко-литературных, но о том, как цепок был его глаз и как виртуозно он отыскивал «параллельные места» для примечаний, можно судить по двум публикациям в «Новом литературном обозрении»: о Пушкине¹⁰ и о Бодлере¹¹.

И от этого — блистательного, образцового — комментария к одному стихотворению Бодлера логично перейти ко второму Сережиному «гештальту». Хотя тема эта несравненно более грустная. Ведь готовы были, кажется, комментарии если не ко всем, то к очень многим стихотворениям «Цветов зла». Но такая книга — Бодлер в переводах и комментариях С.Л. Козлова — в свет не вышла. Точно так же, как не вышел блок статей о политической прозе, который Сережа собирался составить для «Нового литературного обозрения». А в совсем юные годы, в разгар перестройки, для издательства «Книга», тогда еще не погубленного алчными комсомольскими функционерами, Сережа, по преданию, которое сейчас, увы, не у кого проверить, собирался писать для серии «Судьбы книг» работу о «Человеческой комедии» Бальзака. Но и такой книги тоже нет.

Когда Сережи не стало, многие люди, его знавшие, помимо горя от утраты замечательного друга, испытали еще и нечто вроде обиды на судьбу: как же многого он не успел сделать! Но еще больнее от сознания, что он сам эту свою недостаточную реализованность хорошо понимал, и понимание это мучило его и тревожило.

Бывает, что люди проговаривают свою внутреннюю боль, говоря о чужих проблемах. В конце 2010 года (с датой 2011 на титульном листе) «Новое издательство» выпустило книгу прозы Лидии Гинзбург «Проходящие характеры»; 21 декабря 2010 года в московском кафе «Март» состоялась ее презентация. На ней выступали многие умные люди, и в том числе Сережа. В памяти сохранилось, что он выступил с блестящей речью, но это, что называется, не событие: его выступления всегда были блестящими. Но ничего автобиографического я тогда в этой речи не заметила. А теперь читаю:

7 Там же. С. 426.

8 Там же. С. 427.

9 Там же. С. 433.

10 Козлов С.Л. Читатель ждет уж рифмы «розы» // Новое литературное обозрение. 2001. № 44. С. 193–194.

11 Козлов С.Л. Бодлер, «К читателю»: перевод и комментарии // Новое литературное обозрение. 2005. № 73. С. 218–231.

А сегодня, по-моему, главное в том, что благодаря этой новой книге мы впервые можем до конца понять, что стояло за всеми известными нам словами Гинзбург о трагедии нереализованности. Как вы, может быть, помните, у Гинзбург есть фрагмент о жизненной трагедии Пушкина. По мнению Гинзбург, трагедия Пушкина состоит не в том, что его убили, не в том, что его травили, не в том, что от него отшатнулись друзья, и не в том, что его не любила жена. Для Гинзбург трагедия Пушкина была в том, что западня, которую Пушкину расставили, не давала ему сосредоточиться на работе. Она пишет: «Нам, которых не удивишь зрелищем боли человеческой, до сих пор от этой трагедии больно». Я знал все эти суждения Гинзбург о нереализованности, понимал их автобиографический подтекст и все равно считал Гинзбург победительницей. Теперь я вижу ее колоссальное поражение, и мне от этой трагедии больно¹².

Читаю и удивляюсь: как же можно было не понять, что ему было больно не только (а может быть, даже и не столько) от трагедии Гинзбург, сколько от своей собственной нереализованности или, во всяком случае, недореализованности. Но по-другому он работать не умел. Пять глав будущей «Имплантации» в ворде он мне прислал в 2009 году. Там все основное уже было сказано — но он продолжал работать над книгой еще десять лет, и вышла она в 2020-м.

В «Имплантации», рассуждая о производстве новаторского научного знания во Франции в обход Университета, ведавшего всем образованием, Сережа использует придуманный им самим термин «институциональное шунтирование». Это, конечно, простое совпадение, но какая злобная ирония судьбы в том, что именно накануне шунтирования сердца, в котором он нуждался и ради которого лег в больницу, Сережа умер. Шунтирование, которое помогло французам XIX века привить немецкую научность к французской риторике, не успело помочь тому, кто его так выразительно описал.

12 Козлов С.Л. Победа и поражение Лидии Гинзбург // Новое литературное обозрение. 2012. № 114. С. 354.